

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



Александр Иванович Эртель

## Барин Листарка

«С шестьдесят первого года нелюдность Аристарха Алексеича перешла даже в некоторую мрачность. Он почему-то возмечтал, напустил на себя великую важность и спесь, за что и получил от соседних мужиков прозвание «барина Листарки»...

**Александр Иванович Эртель**  
**Барин Листарка**

Кому случалось в былые, дореформенные времена колесить крепостную Русь, тот, вероятно, примечал некоторую особенность в расположении дворянских убежищ. Богатые барские усадьбы с бесчисленными службами и домом-дворцом, воздвигнутым по плану какого-нибудь Растрелли, в свое время искавшего милостей помещика-вельможи, гордо и одиноко громоздились где-нибудь на возвышенности, царствующей над окрестностями, окруженные цветниками, садами и парками, и лишь в почтительном отдалении от таких усадеб тянулись бесконечными улицами многолюдные крепостные села с белокаменными церквями, широкой базарной площадью, а иногда даже и с пожарной каланчой. Поместья, принадлежавшие дворянству средней руки, с надворными постройками, более рассчитанными на солидность и прочность, чем на изысканность и щегольство, и господским домом с вечным мезонином наверху, обыкновенно ютились себе где-нибудь на отлогом полускате и отделялись от деревни, потонувшей в зелени раkit и в матовом золоте многочисленных скирдов, много-много что

сквозной каменной оградой, на диво сложенной крепостными каменщиками, или узеньким прудом с навозной плотиной, усаженной развесистыми ветлами, и с водяной мельницей, неустанно гремевшей и брызгавшей колесом своего единственного постава и немилосердно пудрившей прохожих мелкой мучной пылью. Около таких поместий не зеленелись парки и английские сады с подстриженными деревьями и таинственными павильонами, не сверкали молочной белизною белые Венеры и Дианы и не звенели свежими брызгами фонтаны с неизбежным тритоном и полногрудыми, до излишества, наядами... Дворянство средней руки не любило этих затей во вкусе рококо<sup>(1)</sup>. Не выписывало оно соблазнительных, но дорого стоящих мраморных изваяний, не строило фонтанов, сочивших холодные водяные струйки устами сердитого нелюдима Нептуна и его многочисленной челяди, не уродовало ножницами пышной древесной листвы и не воздвигало, на страх и грозу крепостных девок, вычурных павильонов, изукрашенных скромными картинками, зеркалами и фантастическими

арабесками. Вековой запущенный сад, из конца в конец оглашаемый звонким соловьиным рокотом, пронзительным писком копчика и заунывным кукованьем кукушки, дремучий сливняк и вишенник, тысячи яблонь и груш, целые поляны малинника, смородины и другой ягоды, тенистые кленовые и липовые аллеи, березовые рощи с веселым блеском своих стволов и болтливый лепетом глянцеви-тых листьев, — вот что окружало поместье дворянина средней руки и, в первобытном изобилии, давало неисчислимые сорта моче-ний и солений, парений и наливок для его неприхотливого стола, а в случае надобно-сти — объемистые пуки гибких розог для мужицких крепостных спин.

Эти поместья, так же как и усадьбы бога-тых тысячедушных бар, были раскинуты на довольно значительном расстоянии друг от друга, и только поднявшись на гористый бе-рег какой-нибудь реки и окинув с него взгля-дом привольную низменную даль, протянув-шуюся на десятки верст видимо глазу, вы мог-ли бы счесть пять-шесть дворянских вотчин, подобно белоснежным лебедям улепивших

там и сям полускаты берега. Самое пространство земли, примыкавшей к такому помещью или к такой усадьбе, и иногда достигавшее размеров немалого немецкого царства, обуславливало эту отдаленность друг от друга барских убежищ.

Зато так называемые во время оно «малодушные», то есть владельцы двух-трех и много десяти крепостных душ, гнездились в тесном соседстве. Едешь-едешь, бывало, смотришь-смотришь по сторонам — и вдруг с какой-нибудь возвышенности бросится тебе в глаза целая кучка тесовых, камышовых и иных кровель, замелькают частыми зелеными пятнами крошечные садишки, огороженные плетнями, сквозь которые свободно шныряют свиньи и поросята, засверкает тинистый пруд, заросший осокою и чапыжником, и зачернеются покоробленные мужицкие избенки, беспорядочной толпою обступившие домики с тесовыми, камышовыми и иными кровлями. Это и есть «малодушные». В подмосковных губерниях народ и теперь помнит этих «малодушных» под несколько презрительным прозвищем «поганых дво-

рян». Чаще всего это были либо недоросли, с грехом пополам одолевшие дьячковскую псалтирь, либо писцы второго разряда, заручившиеся этим вождеденным званием в снисходительной предводительской канцелярии, либо юнкера и прапорщики в отставке. Вообще народ нечиновный. Это те самые предупредительные господа, которые в былое время смиренно терлись в хоромах каждого помещика средней руки, пользовались его кормами, а иногда и старым шлафроком с его плеча, выпрашивали, когда патрон находился в духе, четвертку пшеница, телочку на завод, щенка от борзой суки, возик сенца, — причем подобострастно целовали патрона в плечико и величали его «благодетелем». Это те самые развеселые люди, которые на званых помещичьих обедах и именинных балах так уморительно ходили на четвереньках и выплясывали трепака, в угоду хозяину и на потеху многочисленных подвыпивших гостей, так храбро глотали смесь уксуса с деревянным маслом, сгрызали зубами рюмки и с такими смешными ужимками подражали крику петуха, мяуканью кошки и хрюканью поросен-



ка.

Те из «малодушных», которые не потешали таким невинным образом добродушного дворянства средней руки и не пресмыкались перед ним в чайнии сюртука с протертыми локтями или засаленной венгерки, — те невылазно жили в своих утлых домишках, иногда сами и косили и пахали наряду с мужиками и вообще образом и подобием мало чем отличались от собственных своих крепостных. Разве что кое-как выбритые подбородки да лохматые усы, спесивая важность в лице да зычный голос, с утра до вечера расточавший ругательства, выдавали их благородное происхождение. У иных же не было и этих признаков дворянского достоинства, и часто фореитор богатого барина, при встрече на узкой дороге с таким опростевшим дворянином, лупил его на все корки арапником, нимало не подозревал, что лупит благородного человека, а не какого-нибудь мещанина-шибая или двоюродного дьяконского племянника.

Обыкновенно раз в три года, а иногда и реже, какой-нибудь милостивец, метивший в

предводители, вез «малодушных» на свой счет на выборы, и тогда для них настаивал великий праздник. Их плохо выбритые красные и оплывшие физиономии с буйно растрепанными усами и насаленными «серполетовой» помадой коками (есть такая помада), их венгерки и сюртуки военного и штатского покроя, с буфами в плечах и с талией на затылке, заполняли все трактиры и кафе-рестораны невысокого разбора, а жадные рты с азартом истребляли целые горы классических котлет с горошком, невероятное количество поросят со сметаной и реки киевских наливок с запахом сургуча и сквернейших водок под громкими наименованиями тминной, полынной, анисовой и т. п. Улицы и бульвары губернского города оглашались тогда победным гамом их громких до нелепости голосов и пьяными возгласами о дворянской чести, благородстве и о готовности во имя этой чести и этого благородства каждому мимоидущему бить морду. Визг девиц двусмысленного поведения неумолчно стоял над городом во все время присутствования в оном одичавших по захоlustьям мелких дворян. Полицей-

ские чины сбивались с ног, круглые ночи объезжая притоны и дружески увещевая полчища этих захолустных рыцарей. В залах дворянского собрания пахло луком, сквернейшим табаком и сивухой... Но проходили выборы, допотопные сюртуки военного и штатского покроя бережно укладывались на дно сундуков до нового чрезвычайного случая, и «малодушные», кисло озирая неприхотливые домашние яства, с тоскою поглаживали желудки, отчаянно хватались за разбитые хмелем головы и с остервенением погружались в захолустные дрязги... А дрязги эти широким потоком одолевали их дворянское существование. Смежные поля и усадьбы, сварливые соседи, одуревшие со скуки и тоски, разоренные и вечно голодные мужики, ворующие все, что только попадалось под руку и что возможно было украсть, от гвоздя до гнилой подошвы включительно, визгливые барыни и барышни в козловых башмаках и ситцевых платьях; барышни, обожающие душу Пушкина и с замиранием сердечным твердящие наизусть «Полтаву» и «Цыган», барыни с непобедимою склонностью к щипкам, плев-

кам и мордобитию — все это страшно расплодилось ссоры и сплетни, брань и пересуды.

И ни с кем так безжалостно не поступил шестьдесят первый год, ни на кого не обрушился он с такой сокрушительной стремительностью, как на несчастных «малодушных». Подобно железной метле, прошла по их скученным усадебкам эмансипация и разогнала по широкому лицу земли русской горемык-владельцев. Почва из-под них как-то сразу ушла и ухнула в какое-то бездонное «далеко». Мужичишки, большую часть оказавшиеся «дворовыми людьми», расползлись как тараканы и разнесли по селам и деревням свой нищенский скарб и свои гнилые избытки. Богачи-помещики, в былое время возившие мелкого дворянина на выборы, поившие и кормившие его своими кухнями, не знавшими скудости, и своими неистощимыми запасами яблоновок, вишневок и сливянок, — сами сидели по своим домам с мезонинами в неприятном, предвкушении погибельных времен и с тоской измеряли взорами вновь открывшиеся перспективы всяческих неблагополучий. Нового сословия, с запросами на

людей жующих стекло и ходящих на четвереньках, в то время еще не нарождалось. Земля... но ее было так мало, и притом она требовала обработки, обработка же в свою очередь вопияла о деньгах, известных «малодушным» больше по слуху. Приходилось разбегаться — и они разбегались. И куда-куда, не заносила судьба их победные дворянские головы с признаками и без признаков благородного происхождения на лице!.. От задних комнаток московских трактиров двусмысленной репутации и до щегольских передних новых судебных учреждений, от окрестностей Иверской часовни и до панелей многолюдных петербургских улиц вы могли бы встретить и видеть их, невымытых и нечесанных, с пухом в волосах и с следами синяков под глазами... Низшие разборы железнодорожных должностей, вновь объявившиеся канцелярии мировых и земских и иных учреждений, реформы, потребовавшие переписки, переписки и переписки — все это, вплоть до наших дней и до пресловутого движения добровольцев в Сербию, — подобно омуту, впитывало в себя мелкого дворянина. А крошечные домишки с те-

совыми и иными кровлями гнили и обрушивались и зарастали чертополохом; «забалованная» мелкодворянская земелька покрывалась сорными травами, порастала бурьяном и бобовником и за бесценку переходила в руки предприимчивых пионеров нового сословия. Так погибли «малодушные». И редко-редко кто уцелел из них до наших времен и усидел на старом пепелище. Такие уцелевшие обыкновенно применяются к новым порядкам, водворившись в захолустьях после шестьдесят первого года, и тяготеют к «новому сословию». Они при случае и кабаки снимают, причем вешают на них вывески с надписью «ресторации», они и трактиры открывают, непременно с органом и мамзелью за буфетом (это в каком-нибудь селе Голодалове-то!), и заводят торговлю линючим ситцем да рукавицами, рыжеватым плисом да щегольскими трубками в оправе, натертой ртутью.

Но есть из них и такие, которых можно назвать закоренелыми. Эти хотя и с грехом пополам, но пытаются жить по старым порядкам и до последней возможности берегут свои дореформенные понятия и взгляды.

Обыкновенно они не вовсе уже бедные и в старину обладали не менее как десятью душами, а ныне — пятидесятью десятинами земли. Они — любопытны, эти закоренелые. Они не любят показывать носа в люди и живут в своих насиженных норах безвыходно и безвыездно. Но вы можете видеть их на каком-нибудь избирательном съезде, где они присутствуют иногда в качестве уполномоченных от мелких землевладельцев (это обыкновенно в тех уездах, в которых «новое сословие» не проникло еще надлежащим образом в суть земских отправлений и все еще, в простоте душевной, считает их за времяпрепровождение, никакой выгоды не представляющее). Сидит такой закоренелый на высокой земской скамье, багровеет и задыхается от тугого старомодного галстука и с мучительной сосредоточенностью вслушивается в голос председателя. Но вот он услышал свою фамилию и, благоговейно шагая по шикарному земскому паркету, направляется к ящичку. Там он бережно принимает шар из рук кротко и предупредительно улыбающегося председателя — и, либо мрачно и торжественно, либо ра-

достно и застенчиво, кладет всем налево или всем направо: смотря по темпераменту. Кроме этого мерного и благоговейного хождения от скамьи к ящичку и от ящичка к скамье, кроме подобающих сжиманий лицевых мускулов в пору опускания руки под сукно, — он неподвижен, подобно изваянию, и так же, как изваяние, нем. Пусть нестерпимо сжимает его шею жесткий, как дерево, галстук, пусть режет ему под мышками сшитый в незапамятные времена сюртук, пусть на багровом лице проступает испарина и сосед-купчина с засаленным животом толкает под локоть и таинственным полусшепотом спрашивает: «Нет ли чего продажного?» — он не шевельнется и не промолвит слова.

В гласные такие закоренелые редко попадают, а если попадают, то являются лишь в те собрания, где предполагаются выборы. Тогда они изъявляют желание баллотироваться, всем другим претендентам кладут налево (несмотря уж на темперамент) и обыкновенно сами получают два шара из сорока, после чего с важным и угрюмым видом, не лишенным некоторой величественности, удаляются



из залы и в тот же вечер выбывают в свои тихие палестины. Впрочем, несмотря на такую неудачу, они не унывают и баллотируются при всяком удобном случае и во все должности, где полагается жалованье и не требуется ценза, и, что замечательно, — баллотируются всегда безуспешно и всегда получают одинаковое количество неблагоприятных шаров.

Нужно прибавить, что на дворянских выборах теперь вы уж не встретите мелкого дворянства, ибо нет уже теперь таких горячих искателей почетного, но безвыгодного предводительского места, которые возили бы на эти выборы мелкого дворянина и до отвала кормили бы и поили его сомнительными деликатесами губернских трактиров.

Отставной писец второго разряда Аристарх Алексеич Тетерькин, более известный в нашем околотке под несколько двусмысленным прозвищем «барина Листарки», принадлежал именно к этому числу уцелевших и закоренелых мелких дворян. Его крошечное именье (однако и не так уже чтобы слишком крошечное) отстояло недалеко от моего хутора. Был господин Тетерькин высок ро-

стом, сед волосом, вдов и бездетен. Кроме ситцевого халата и нанковых штанов, никогда и ничего не надевал и только в парадных случаях, почти сверхъестественных по своей исключительности, заменял халат вицмундиром, сшитым еще во время венгерской кампании крепостным самоучкою Эльпидифором.

Во время молодости своей Аристарх Алексеич, по его словам, находился в приятных отношениях к дому помещика Катай-Валяева, в торжественных случаях выхаживал «русскую» с крепостными метрессами этого помещика, и вообще занимал общество, в чем так преуспел, что раз даже, каким-то невиданным дотоле способом подражая свисту соловья, привел в восторг заезжего генерала, за что и получил великодушное генеральское спасибо с присовокуплением золотого дуката (генерал только что прибыл из Венгрии). Но времена переменчивы. По случаю какой-то неприятности, имевшей темную и невыясненную связь с появлением у одной из метрессок шелковой юбки, Аристарху Алексеичу пришлось прекратить свои приятные отношения к дому Катай-Валяева, и прекратить

после невольного, хотя и таинственного, путешествия на катый-валяевскую конюшню. С тех пор господин Тетерькин разучился свистать соловьем, утратил веселость своего нрава и привычку к общительности. Он раз навсегда надел на себя халат, натянул нанковые панталоны и засел в своем поместье, где и женился и овдовел в свое время.

С шестьдесят первого года нелюдимость Аристарха Алексеича перешла даже в некоторую мрачность. Он почему-то возмечтал, напустил на себя великую важность и спесь, за что и получил от соседних мужиков прозвание «барина Листарки».

Эта спесь и эта склонность к уединению усугубились в нем с той поры, как, быв выбран уполномоченным в избирательный съезд и пожелав баллотироваться в земские гласные, он получил один только шар из сорока двух наличных. Неизвестно, путем каких умозаключений, но «барин Листарка» пришел тогда к такому выводу, что только он один, Аристарх Алексеич Тетерькин, есть настоящий дворянин и благородный человек, сохранившийся во всей своей первобытно-

сти; все остальные были лишь прохвосты и проходимцы.

Вообще новое время пользовалось искренним его нерасположением (особенно усилившимся опять-таки со времени упомянутого избирательного съезда), хотя это же самое время, с своим возведением всякого дворянского существования в нечто независимое и прочное (сравнительно, сравнительно, господа!), вероятно и содействовало укреплению возвышенных мечтаний в голове господина Тетерькина и воспитало в нем пылкое желание слыть барином.

От покойницы жены господину Тетерькину осталось несколько прочных воспоминаний, а именно: вышитый бисером по атласу кисет с надписью «друху мово сердца», вязаная скатерть, покрывавшая пузатый комод, оклеенный неизбежной карельской березой и выложенный давно уже позеленевшею бронзой, и раскрашенный дагерротип<sup>(2)</sup>, изображавший сочную толстуху с носом, наивно приподнятым к небесам, мужественными усами на оттопыренных губках и фиолетовым румянцем на лбу. Впрочем, несмотря на всю ча-

рующую силу этих трогательных воспоминаний, господин Тетерькин все ж таки имел в качестве хозяйки кухарку Арину, изумительно грязное, косое существо, вечно безмолвствовавшее и как бы забитое, но твердо державшее в руках нос своего барина.

Время Аристарх Алексеич проводил однообразно. Летом он с самого утра влезал в свой вечный халат и, если погода была удовлетворительна, бродил по своим владениям, заходя в дом только лишь затем, чтобы выкурить трубку. Целый день его зычный голос, подобно трубе архангельской, гремел то в поле, то возле риги, более похожей на хлев, чем на ригу, то в саду. В поле он ругал мужиков, в риге — работника своего, смиренного и молчаливого старичка Архипа, в саду — девок, выпалывавших гряды. Драться он не дрался, но ругался ужасно (существовала легенда, что некогда и к драке он питал склонность, но в свою очередь был как-то побит и утих). Бывало, на заре едешь по своему полю, а уж с ветерком несутся густые басовые ноты: «да я тебя!.. да ты у меня!.. да я!.. да ты!..» (Если в это время случится около меня какой-нибудь му-

жичок, то он уж непременно заметит, тихо и снисходительно посмеиваясь себе в бороду: «Эка Листарка-то надрывается!») Несмотря на вечную ругань Аристарха Алексеича, мужики работать у него любили. Так как денег у него никогда почти не водилось, а если и случались они, так всецело уходило на чай и сахар, сапоги и табак (все остальное было свое, нанка же на штанах имела свойство носиться десятилетия), то работали у него испольно<sup>(3)</sup>. Впрочем, многим работать не приходилось; две или три семьи из ближней деревни так подладились к характеру господина Тетеркина и с таким смирением сносили его «барское» обхождение, что без всякой конкуренции выпаживали его земельку, свозили изрядную часть его хлеба на свои гумна и вытравливали своим скотом его маленький сенокос. Чтобы все это выделывать благополучно, им только приходилось заручаться расположением косой Арины, любившей иногда выпить. Что же касается до Аристарха Алексеича, то, несмотря на видимую его неусыпность и всестороннее вникание в хозяйство, он ровно ничего не видел и ничего не знал. Если пе-

ред ним стояли без шапок, если умиленно молчали, когда он ругался, или подобострастно лепетали: «Виноват, сударь, простите», если называли его жалкий домишка «хоромами», его убогонького работника Архипа — «барским кучером», а дребезжавшую и некрашенную таратайку, связанную для прочности веревками, «барским тарантасом», — он был доволен и на все остальное махал рукою.

Зимой «барин Листарка» не выходил из комнаты и в неизменном своем халате, с вечною трубкою в зубах, сидел у окна на старом, продавленном кресле и не спускал упорного взора с окрестностей, занесенных сугробами. Тогда уж он не ругался, а только тяжело сопел, мрачно сосал длинный чубук свой (теперь уже нет таких длинных чубуков) и в известные промежутки сердито возглашал: «Арина, трубку!» На зов появлялась косая баба и, утирая грязным подолом заспанное лицо свое, подавала барину вновь набитую и раскуренную трубку, после чего опять удалялась к своим горшкам, а барин опять сопел и курил и неподвижно глядел в снежное поле, над которым то сияло солнце и сверкало ослепитель-

ное небо, то тихо тянулись печальные снеговые тучи и белыми звездочками сеял снег. Это молчание, сопение и курение в обычные часы прерывалось обедом из солонины, щей и каши, скверненьким чаем, имевшим способность настаиваться до черноты, подобной пиву, и пахнуть пареными березовыми вениками, и, наконец, тяжелым сном с безобразными сновидениями, мучительной отрыжкой, одурью и давлением домового.

Вообще однообразно проводил время господин Тетерькин.

Я редко бывал у него. Надо сказать правду — он был таки утомителен, и только скука хуторская заставляла меня поддерживать с ним знакомство. Но случалось и так, что я посещал его и не раскаивался, ибо не без приятности проводил время.

Как теперь помню одно весеннее воскресенье. Стояла прелестная погода, и я вздумал проехать к Аристарху Алексеичу. Благодаря празднику или вообще нерабочему времени (сев уже окончился, покос же еще не начинался), но, подъезжая к усадьбке Тетерькина, скрашенной развесистыми березами и цветущими



щами яблонями крошечного садочка, я, вопреки обыкновению, не услышал зычного хозяйского голоса, и только когда уже «барский кучер» Архип взял у меня лошадь и потащил ее к риге, а я направился к крылечку, — до меня донесся из «хором», могучий окрик Листарки: «Трубку, Арина!»

Поздоровавшись, и выразив подобающими восклицаниями нашу радость по поводу свидания, мы расположились с Аристархом Алексеичем на крылечке (которое, впрочем, он величал балконом) и не спеша начали тянуть чай, поданный нам косою Ариной в зеленых, толстых стаканах и на ржавом железном подносе какой-то доисторической формы. Прямо против крылечка зеленел густой муравью небольшой дворик, окруженный с одной стороны покосившимся амбаром и растрепанной ригею, с двух других — старым, полусгнившим плетнем. За двором, вплоть до горизонта, расстилалась и ходила сизыми волнами серебристо-зеленая рожь. Вообще место с балкона казалось пустынным и самая усадьба скучною. Но за домом этой усадьбы расположен был садик и протекала

узенькая речка, окаймленная ракетами, и от туда вид уже не казался пустынным: на противоположном берегу с добрую версту тянулось большое однодворческое село с голубою церковью, около самого садика ютилась деревенька бывших крепостных господина Тетеркина и его многочисленных соседей — «малодушных» дворян, следы существования которых давно развеяло ветром по чистому полю... Впрочем, не все развеяло: шагах в тридцати от усадьбы Аристарха Алексеича, возле дороги, прихотливой лентой извивавшейся по ржаному полю, каким-то чудом уцелел крошечный похиленный домишка, с гнилыми углами, провалившеюся, но когда-то несомненно тесовою, кровлею и зияющими дырами вместо окон. Около этого жалкого остова, печально поникнув листьями, белелась старая береза, и корявая яблоня с прогнившей сердцевиной беспомощно распростирала полужасохшие ветви свои. Могучая рожь пышно разрослась на тучной почве и со всех сторон обступила и развалину и одиноко умирающие деревья. При взгляде на эти заброшенные развалины, затерянные во ржи, и

на эти сиротливые деревья, как бы оплакивающие судьбу свою, невольно сжималось сердце и какое-то тоскливое чувство вползло в душу...

В этом домишке некогда прожигал жизнь Мухоморкин, владелец шести крепостных душ, в свое время переселившийся в известное лоно и оставивший достояние свое единственному чаду Митрофану. Митрофан же Мухоморкин, с петушиным видом расхаживая по вагонам в поддевке, отороченной галунами, и зычно командуя пассажирами богом забытого третьего класса, — вспоминал про отцовское достояние лишь в то время, когда богатый мужик-однодворец Костоглот привозил ему аренду, впрочем едва-едва хватавшую на погашение десятка порядочных ремизов в стуколке.

Аристарх Алексеич, широко распахнув на косматой груди халат свой и сосредоточенно сжав губами длиннейший чубук, глубокомысленным взором осматривал даль, плевался, выпускал прихотливыми струйками синеватый дымок и внушительно морщил брови.

— Что нового? — спросил он у меня отры-

висто и важно.

— Да что нового. Вот земство еще по три копейки наложило.

Господин Тетерькин на мгновение вынул изо рта чубук, сердито сверкнул глазами и произнес:

— Грабеж и больше ничего.

— Да ведь оно на общественные нужды, любезный Аристарх Алексеич...

Аристарх Алексеич усиленно засопел и придал глазам вращательное движение.

— Оно на общественные нужды, — повторил я.

— Какие такие?

— На школы, на больницы...

— Школы! Больницы! Могу вам сообщить... — желчно и презрительно воскликнул Тетерькин и затем с угрюмым хладнокровием добавил: Проходимцы с мужичишками съякшались и грабят.

— Кого же грабят? — удивился я.

— Дворян грабят, сударь мой! — выпалил Тетерькин.

— Помилуйте, какой же это грабеж? Отчеты...

Но Аристарх Алексеич окончательно рассердился, возвысил голос и забрызгался слюнами.

— А па-азвольте вас спросить, сударь мой, где эти самые распротоканальские отчеты ихние-с?.. Кто их видел, эти отчеты-с, па-азвольте полюбопытствовать?.. Я их не видал-с, могу вам сообщить... Я не имел чести их видеть... Понимаете — я!

Он указал на себя пальцем.

— Но позвольте... — попытался было я возразить, но мой горячий собеседник уже не внимал ничему.

— Я, сударь мой, дворянин и благородный че-а-эк! — кричал он, то возвышая голос до рева, то уподобляя его самому тончайшему писку, — я бла-ародный че-а-эк, сударь мой, и грабить себя каким-нибудь проходимцам не позволю-с, могу вам сообщить... Я... я... (тут господин Тетерькин слегка поперхнулся)... — Мы... мы... Мой отец... и я не позволю всяким мерзавцам... Не позволю-с, сударь мой!

Он круто остановился и постучал кулаком по своей мохнатой груди.

— Ведь вы же выбирали этих проходимцев

и мерзавцев? — заметил я (перед этим Тетеркин был уполномоченным в избирательном съезде).

— Я! — басом возопил Аристарх Алексеич и с негодованием вскочил со стула. — Я!.. — повторил он дискантом и затем в каком-то изнеможении пролепетал: — Могу вам сообщить... Я выбирал Данилку?.. Я Акимку выбирал?..

— Да как же... — заикнулся было я.

— Нет-с, уж это извините-с! — с новой энергией прервал меня Аристарх Алексеич, — нет уж, сударь мой... Подлецов я выбирать не охотник, могу вам сообщить... Не имею этой привычки, чтоб подлецов выбирать!.. Я попovichа Данилку Богословского не выбирал-с, смею вам доложить... Я мужичишку Акимку, ирода и прохвоста, не выбирал-с, а налево ему, архибестие, закатил... Я вора и пьяницу Ефимку не почтил выбором-с!.. Я ему, искариоту, черняка влепил... Это могу вам сообщить... Это уж увольте-с... Это уж мое почтение-с... Я не проходимец какой, смею доложить... Я... я... Мой отец... мы... я грабить себя не позволю-с... Да-с, могу вам сообщить!.. Я

плюю-с... я дворянин... Да, и плюю...

Тетерькин действительно плюнул, но вдруг почувствовал утомление, вздохнул, сел и мало-помалу успокоился, хотя бровями все еще шевелил тревожно. Косая Арина принесла нам по другому стакану чая и на этот раз соблаговолила угостить вареньем, вероятно собственного своего изделия, ибо варенье, судя по ягоде, было из малины, но отзывало, черт его знает почему, ладаном и известным цветком «еранью».

Мы молчали и думали каждый свою думу.

В саду лениво щелкал соловей и диким криком перемежала свои мелодичные перебивы иволга. У крыши, черным грибом нависнувшей над амбаром, дружным роем копошились и чирикали воробьи. Старая, седая собака сидела на корточках среди двора и, сторожко приподняв одно ухо, с внимательной серьезностью прислушивалась к чему-то. Около риги бесцельно бродили куры, поковыривая носами кучки навоза. Моя кобыла, привязанная к саням, стоявшим недалеко от риги, флегматично жевала сено, а шершавый щенок, с довольным видом помахивая куцым

хвостом, лизал сальные оси моих дрожек. Где-то за плетнем бестолково болтал индюк и робко перекликались индюшки. Ржаное поле то замирало в какой-то чуткой дремоте и неподвижно нежилось в голубом воздухе, то колыхалось, трепетало и разбегалось хмурыми волнами, и тогда шорох и шелест встревоженных стеблей ясно доносился до нас. В небе белыми и прозрачными космами недвижимо висели облака. Солнце, проникая сквозь эти облака, не сияньем и не блеском обливало землю, а каким-то матовым, мягко-желтоватым и, если можно так выразиться, тихим светом. Сладкий запах цветущих яблонь и зацветающей сирени, смешиваясь с горьковатым ароматом молодой березы и тонким благоуханием резеды, бог весть какими путями занесенной в садик Аристарха Алексеича, стоял в теплом и слегка влажном воздухе, заглушая даже запах тетерькинского чая.

Долго ли продолжалось бы наше молчание — не знаю, но ему суждено было прекратиться следующей сценой.

Приземистый мальчуган лет девяти, в широчайших, но коротких портках и рубахе,



подпоясанной ниже живота, вынырнул откуда-то из-за плетня и трусливой, спутанной рысцою направился к стороне риги. Громадная косматая шапка (вероятно, отцовская) свободно болталась на его головке и то и дело надвигалась ему на глаза.

— Эй, ты! Как тебя... Малый... малый! — оглушительно закричал Аристарх Алексеич.

Мальчуган остановился в некотором раздумье и, после минутной нерешительности, робкой поступью подошел к «балкону», сняв на ходу шапку и обнаружив глазенки, полные лукавства и вместе смущения.

— Знаешь, кто я? — спросил его господин Тетерькин, грозно насупливая брови.

— Ба-ари-ин, — пролепетал мальчуган, комкая в руках шапку.

— Барин! — иронически передразнил Аристарх Алексеич, и затем сурово добавил: — Как же ты, негодяй, осмелился по барскому двору в шапке идти, а? (он сделал ударение на словах «барский двор»),

Мальчуган молчал и почесывал одна об другую свои босые ножонки.

— Я тебя, каналью, спрашиваю? — повто-

рил господин Тетерькин.

Мальчуган с озадаченной миной спустил рукав рубашонки, старательно высморкался в этот рукав и — молчал. Аристарх Алексеич долго и пристально глядел на него.

— Ты чей? — спросил он вдруг.

— Михей-ки-ин сы-ин, — дрожащим голосом произнес мальчуган и внимательно стал разглядывать свою громадину-шапку.

Аристарх Алексеич опять пристально и напряженно осмотрел его с ног до головы.

— Так ты Михейкин сын, а?

— Михейки-ин...

— Как же ты не видишь, барин сидит на балконе, а? Михейкин сын безмолвствовал.

— Как же ты, свинья, не замечаешь — сидит барин, и ты ломишься в шапке, а? — настоятельно повторил господин Тетерькин.

Опять безгласие, но прерванное тихим вздохом.

— Балкон, барский дом, сам барин сидит на балконе — и ты, скотина, шапки не ломаешь, а?

Все мы с добрую минуту помолчали. Мальчуган порывисто вздернул штанишки и на-

клонил голову, отчего волосенки свесились ему на лоб и закрыли глаза.

— Так ты сын Михейкин? — снова спросил господин Тетерькин.

— Сы-и-ин...

— Хм...

Аристарх Алексеич подумал, сделал величественное мановение рукою и отрывисто произнес:

— Пшел вон!

Мальчуган радостно взмахнул волосами, сверкнул исподлобья темными глазенками, на этот раз уже не выражавшими смущения, и, с удивительной поспешностью перебирая пятками, скрылся за амбаром.

Спустя некоторое время по исчезновении Михейкина сына на дворе появился мужик, еще издали снявший шляпу и подходивший к нам с подобострастной улыбочкой.

— К вашей милости, сударь, пришел! — сладко произнес он, низко и медленно кланяясь.

— Что такое? — важно спросил господин Тетерькин, глядя не на мужика, а куда-то в сторону.

— Да уж не оставьте, сударь, ваша милость... Вы наши отцы... — Мужик насмешливым и быстрым взглядом скользнул по моей фигуре.

— Что нужно?

— Мучицы бы мне, сударь. Мы и то так-то поговорили, поговорили со домашними: господи ты, боже мой, куда же мы опричь своего барина пойдём!.. Кем живем, кем дышим... — Мужик вздохнул благодарным вздохом и слабо кашлянул. — Ужель я к целовальнику пойду! — Нет, я не пойду к целовальнику, а пойду-ка я лучше к сударю-барину, говорю... Авось его барская милость не оставит, не откажет мне в мучице...

Аристарх Алексеич с чувством уверенного в себе достоинства слушал мужика, и слушал до тех пор, пока мужик в некотором изнеможении остановился. И, вероятно, льстивая мужикова речь была по душе господину Тетерькину, ибо вся фигура его как-то величественно напряглась, а лицо даже прояснилось сиянием.

Когда мужичок остановился, господин Тетерькин покровительственно проронил

(впрочем, все-таки не сводя своего взгляда с какой-то беспредметной дали):

— Муки тебе?

— Мучицы, сударь... Это точно, что мучицы! — с новой силою воскликнул мужик. — Уж сделайте милость — вы наши отцы...

Аристарх Алексеич затейливой спиралью выпустил дымок и, с подобающим глубокомыслием опять выслушав до конца подобострастную реплику мужика, крикнул:

— Арина!

Явилась Арина и, учинив своими косыми глазами некоторую перепалку с плутовским взглядом мужика, недвижимо подперла при толку и по своему обычаю спрятала руки под передник.

— Есть мука? — спросил ее барин.

— Как не быть муке, батюшка-барин... Муки — слава богу! — Арина говорила нараспев и слегка присюсюкивала.

— Дура-баба, — возразил Тетерькин, надменно передергивая плечами. Знаю — есть мука... Для барского стола, спрашиваю, хватит ли, а?

— Как, поди, не хватить... — Арина вскину-

ла кверху голову и что-то пошептала. — Хватит, батюшка-барин...

— Хм... — Аристарх Алексеич забарабанил пальцами по столу. — Трубку!

Арина исчезла. Мужичок, поникнув головою, неподвижно стоял около балкона.

— Ну, как ты... Как тебя... — свысока пророчил господин Тетерькин, что у вас там, как... Вольные вы... ну, как, а? мучицы?.. Жрать нечего, а?..

Мужичок встрепенулся и хотя не нашелся, что отвечать, но в почтительном тоне пустил: «Хе-хе-хе...»

— А? Вольные?.. А мучицы, а?.. Что? — Как тебя... сладко, а?

Мужичок, видимо, смекнул в чем дело; он опять насмешливо и быстро вскинул на меня глазами, и, погладив небольшую бородку свою, произнес:

— Уж это как есть!.. Это вы правильно, сударь, рассудить изволили.

— А? Правильно? — вдруг оживился Аристарх Алексеич и даже взор свой устремил в сторону мужика.

— Чего справедливей! — подхватил му-

жик, — при господах, аль ноне... Тогда житье было, прямо надо сказать — рай.

— А? Рай? — все более и более оживлялся «барин Листарка». — А теперь мучицы, а?

— Знамо, уж времена пришли... Ноне ему в пору щелоком брюхо полоскать, мужику-то... Ноне он бесперечь без хлеба сидит...

— Без хлеба!.. — радостно воскликнул барин.

— Еще как без хлеба-то! — наставительно протянул мужичок. — По нонешним временам, прямо надо сказать — издыхать мужику: нет-те у мужика ни земли, ни покосу, ни скотины, чтоб...

— А? Ничего нет! — злорадствовал Аристарх Алексеич.

— Ноне у мужика одна нажива — вошь да недоимка...

— Недоимка? А?.. Ну, а прежде, прежде?

— Господи ты боже мой! Как равнять прежние времена... Тогда мне что, тогда я на барщину ходил, по домашности по своей управился что нужно, барину сделал угождение какое да и завалился к бабе на полати. Только мне и делов!.

— На полати! Ну, а теперь как, а?

Мужичок безнадежно махнул рукой и засмеялся.

— Вчистую ребятишки перевелись! — воскликнул он.

Арина принесла трубку и снова подперла своим телом притолку. Аристарх Алексеич некоторое время пыхтел молча.

— Так перевелись, говоришь? — наконец спросил он.

— В отделку застряли! — отвечал мужичок.

— Хм... Так мука есть, Арина?

— Как не быть муке, батюшка-барин.

— И для барского стола хватит?

— Хватит, батюшка-барин, за глаза хватит для барского стола.

— Но, а если я вздумал бы дать кому, то как, а?

— И дать ежели надумаетесь, то хватит.

— Хм... Сколько, Власий, тебе муки? — обратился он к мужику.

— Пять пудиков бы мне, сударь... Уж сделайте такую милость.

— Да. Так пять пудиков тебе? Ну, а как



прежде, при господах — как, а?

— Где же, сударь!.. Прогневили мы господу бога — это прямо надо сказать...

— А? Прогневили, говоришь?..

Листарка помолчал.

— Ну, дай ему, Арина, — наконец приказал он.

Арина моментально исчезла. Исчез и Вла- сий.

— Вот! — поучительно заметил мне Ли- старка.

Я промолчал. В молчании прошло с доб- рых полчаса. Косматые облака стали мало-по- малу расползаться, уступая место чистой и веселой синеве. Горячие солнечные лучи обильным потоком брызнули на поля и за- трепетали на них сияющими волнами. Воздух был густ и мягок. Над горизонтом узкою лен- той стояла какая-то беловатая, тусклая мгла. Дали были окутаны голубоватой дымкою. Па- рило.

В кустах сирени, точно ножницы в провор- ных руках артиста-парикмахера, стрекотала какая-то птичка. Соловей умолк; одна горлин- ка с иволгой наперерыв оглашали садик сво-

ими меланхолическими голосами. Лошадь моя, опустив уши, задумчиво поникла мордою и только изредка выходила из этой задумчивости, чтоб отмахнуться хвостом от назойливых, хотя и чрезвычайно маленьких мошек. Седая собака переменяла свою наблюдательную позу и в сладком забытьи дремала, важно развалив брюхо. Шершавый щенчишка сидел около дрожек, глядел на колесо и смачно облизывался. Где-то гудели пчелы.

— Вот вы всё говорите, Аристарх Алексеич, у нас в земстве проходимцы... Не всё же проходимцы! Возьмем хоть Воронова — это уж дворянин настоящий.

— Воронов! Юрка! дворянин! — с пренебрежением воскликнул Аристарх Алексеич. — Могу вам сообщить!.. Нет-с, сударь мой... Настоящий дворянин, смею вам доложить, со всяким стервецом знакомства водить не станет... Юрке далеко до дворянина-с!.. У него, у срамника, мужики в кабинете садятся... Да-с!.. Могу вам сообщить!.. Вломится этак какой-нибудь грязный мужлан да и развалится и важничает, а Юрка ему водки подносит, лебезит перед ним, «вы» ему, стервецу, говорит,

по отчеству величает... — Господин Тетеркин с негодованием отплюнулся, подавил некоторое волнение и затем уже продолжал: — Нет-с, далеко Юрке до дворянина... Вот покойник отец его, Антонин Рафаилович, — это точно был дворянин!.. Это настоящий дворянин был, смею вам доложить... К тому, бывало, купцы первостепенные не смели в усадьбу въезжать, а возьмет этак троечку, поставит за околицей, да пешечком-то, да без шапочки и бредет к барскому крыльцу... Вот это дворянин-с... Тот, бывало, не задумается: чуть не по нем — плетями! В кнуты!.. Розог!.. Вот это, могу вам сообщить!.. А то вы толкуете — Юрка! Юрке далеко до дворянина... Юрка — прохвост, сударь мой, а не дворянин...

Аристарх Алексеич важно всхрапнул, приосанился и строго взглянул на меня.

— Есть тут одна ррракалия — Семка Раков, — начал он, — мужичишка, могу вам сообщить, дрянь. Хорошо-с. Приказал я в прошлом году посеять просо. Посеяли. Пспело просо, приказал я нанять убрать его. Наняли. Наняли, смею вам доложить, негодяя Семку. Дали задаток. Отлично-с. Просо стоит... Ну, я,

разумеется, спрашиваю: почему стоит просо? (Тетерькин внезапно рассердился.) Какие-такие причины!? — «Семка болен-с». — А-а, болен, нанять в его счет! — Приказал — наняли: семь рублей. Превосходно-с. Узнаю кто судья — Юрка судья. Великолепно. Прошу Юрку взыскать с Ракова двадцать рублей убытков и меня, господина Тетерькина, убоготворить. Еду к нему сам... Понимаете ли — сам еду к этому протоканалье!.. Прошу... — «Нельзя». — Почему? — «Должны представить доказательства». — А мое благородное, дворянское слово? — «Не могу-с!..» — А? Каково вам покажется? Мне, помещику и дворянину, Аристарху Алексеичу Тетерькину — и вдруг: «Не могу-с!..» Дальше. (Чем больше сердился и входил в азарт Листарка, тем короче и выразительней становилась его речь.) Выхожу. Понятно, не простился. «Лошадь!» — Никто не откликается... То есть, понимаете — ни души. Лошадь стоит у ограды, был я в легком экипаже и кучера не взял. Вообразите положение! Кричу. Выходит из кухни какая-то бестия, в шапке, рожа красная и ряб. «Лошадь!» призываю. Молчит... «Лошадь!» Что же вы думаете?

те, этот мерзавец! — Тетерькин многозначительно замолчал и затем с расстановкой произнес: — «А поди да сам отвяжи», говорит... — Тетерькин спустил голос до слабого лепета: — А? Это, изволите ли видеть, мне-то, барину-то, он осмелился... Можете себе вообразить... Я онемел. (Тетерькин с ужасом расширил зрачки и уподобил голос какому-то зловещему шипу.) Бегу к Юрке. Говорю, прошу, требую, наконец, наказать мерзавца. Представьте себе смеется! А?.. Я, дворянин и помещик, требую и, наконец, прошу — и он смеется!.. — Тетерькин с негодованием запахнул халат свой и, чуть не захлебываясь от сдерживаемого волнения, возгласил: — Трубку, Арина! — после чего укоризненно, хотя и с примесью некоторой снисходительности, сказал мне: — А вы толкуете — дворянин... Нет, он не дворянин, а хам-с!..

Он мрачно умолк и уж после долгого промежутка прибавил, безнадежно махнув рукою:

— Все они хамы, могу вам сообщить!

Солнечные лучи начинали донимать нас: они били нам прямо в лицо. Аристарх Алексе-

ич предложил перейти в сад. Перешли. В саду около дома действительно была тень. Нам подала Арина старенький выбитый ковер, и мы улеглись на нем в прохладе. В саду было хорошо. Яблони, все сплошь разубранные пахучими нежно-розовыми цветами, вишни, точно обсыпанные пушистым снегом, густо-зеленая сирень, ракиты, верхушки которых приветливо румянило солнце — все это неподвижно млело и нежилось в душистом и жарком, как дыхание, воздухе. Пчелы с веселым жужжанием копошились в цветах и когда улетали с добычей, то сверкали на солнце и казались золотыми. В сочной и густой траве мелькали ярко-желтые одуванчики, серебрилась кашка и, подобно снежинкам, белелись лепестки цветов, опавших с яблонь. Суетливые мошки толклись здесь и там. Речка, еще не успевшая затянуться зеленью порослей, ясно и неподвижно сверкала сквозь ракиты. Соловей томно и тихо рокотал в углу сада. Облака почти сбежали с неба, и оно висело над ними светлое и ласковое.

Помимо пчелиного жужжания, соловьиного тихого рокота, воркования горлинки и мяг-

ких переливов иволги, изредка прерываемых криком, подобным крику дикой кошки, — все было тихо. Все казалось погруженным в сон. С того берега не доносилось ни звука: село словно вымерло. В двориках, видневшихся около сада, тоже все безмолвствовало, редко-редко какая-нибудь одуревшая со скуки собака нарушала это безмолвие долгим и протяжным зевком.

Молчали и мы с господином Тетерькиным.

Случалось ли вам, читатель, в жаркий весенний день лежать на траве в цветущем саду, лежать и глядеть в необъятное синее небо? Случалось ли вам чутким ухом внимать едва заметному шелесту и шороху высокой и прохладной травы, слабо тревожимой роями красивых мошек и шаловливым дыханием ветра, ласковым и теплым, как веяние весны? Случалось ли вам до самозабвения, до отрешения от всего существующего упиваться влажно-душистым весенним воздухом и грустными звуками птичьих песен?..

О, как глубока и таинственно-величава безграничная небесная даль... Каким ласковым жаром и какой невозмутимой тишиною

веет от нее... Трепещут ли под напором ветра гибкие ракиты, слабым ли шепотом отзывается трава тому ветру, звенят ли мягкие и упругие речные волны, ударяясь о берег, гудят ли заботливо пчелы и бисерными переливками рокочет соловьиная песня, плачет ли кукушка и заунывно жалуется горлинка — необъятная высь вечно безучастна и вечно безмолвна.

Но берегитесь вникать в смысл этого безучастия и этого безмолвия. Не отравляйте красоты. Отрешитесь от мысли, едко разъедающей душу. Раскройте эту душу одной только мирной и тихой красоте и одной только этой красоте бесхитростно внимайте... Смотрите на синеву небесную, прозрачным морем повисшую над вами. Смотрите на это пышное и круглое облако, с торжественной тихостью плывущее по этому морю... Смотрите и любуйтесь. Вон острые и блестящие листья ракиты яркою зеленью вырезались, на лазурном фоне неба и слабо волнуются, колеблемые легким ветром... Вон бледный тополь задумчиво лепечет жесткими листьями своими и ослепительно заворачивает их серебристую



подкладку в упор этому ветру... Вон молодая береза, радостная и ясная, как невеста, дрожит, и трепещет, и сверкает на солнце... Смотрите и любуйтесь. Смотрите, как светлы и нарядны эти яблони, подобно гигантским букетам украшающие сад и как бы живущие, как бы ощущающие негу своего существования... Смотрите, как хорош этот частый, темно-сизый вишенник, притаившийся под густым навесом цветов и твердых темно-зеленых листочков...

— Вот вы говорите — дворянство, — внезапно заговорил Аристарх Алексеич, и заговорил почти ласковым тоном, ибо и его дубовые нервы разнежились прелестью сада, — дворянство, могу вам сообщить, попитало. Где теперь дворянство, позвольте вас спросить? — Он задумался и затем добавил с грустью: — Нет теперь дворянства, сударь мой...

Соловей разразился бойкой и раскатистой руладой. Мы помолчали, послушали, и господин Тетерькин опять заговорил:

— Катай-Валяев, помню... Вина, повар, музыканты... Можете себе вообразить: тридцать человек музыкантов!.. И все сгинуло... В при-

ятных отношениях был я с этим домом... То было дворянство. Представьте, рысаки были: львы, смею доложить... А сады, а парки, а оранжереи... Все прахом пошло!.. Борзых вспомню, гончих... Где все девалось, позвольте спросить? Господин Тетерькин даже с каким-то испугом вперил в меня глаза свои, но скоро оправился, махнул рукою и с какой-то тихой печалью воскликнул: Измельчал, сударь мой, наш брат дворянин, опаскудился, смею вам доложить, с мужичишками съякшался, хаму душу свою запродавал... И сгинет, весь сгинет...

Он поник головою и задумался.

— Теперь еду я по селам. Там дом, там усадьба... Да ведь какой дом, какая усадьба, могу вам сообщить! Дом с иголочки, усадьба — полная чаша... Чей дом? — «Епифана Елдакимова». — Чья усадьба? — «Малахвея Евстигнеева...» — Тьфу!.. Кабатчики, шибай, кошкодеры — в люди полезли... Брюхо растят, волосы маслом мажут, анафемы, в лице — румяны, одеты — чертом... А-ах ты... (Тетерькин крупно ругнулся.) Тоска и горе. Горе, могу вам сообщить, Николай Васильевич. Перенести не

могу. Мутит, сударь мой. Десять лет в храм не езжу-с! — Не могу, не выношу. Зазнались, сударь мой. Барина знать не хотят, шапок не ломают, подлецы... Какой-нибудь Малафейка-кабатчик рожу воротит, к амвону, бестия, лезет, просвиру ему, ракалии, на тарелке выносят. Не могу-с, сударь мой! Я дворянином жил, дворянином помру. Это могу вам сообщить. Что мне? — позвольте вас спросить... Именье? — есть... Людей, которых вижу? — уважают... Церковь — ежели? — бог с ней. Я спокоен. Я чист, сударь мой, Малафейкиной рожки пакостной я не вижу, спесь его хамская у меня за глазами... Спесивься, анафема!

Аристарх Алексеич перешел в благодушный тон:

— Я — барин, барином и останусь. Это могу вам сообщить, сударь мой. Я своим не поступлюсь. Что мое — мое. Умру, схоронят — не будет барина. А пока жив — подлецу Малафейке не уступлю. Он у амвона стоит — стой, шельма, нога моя не будет в церкви... Он по селу гоголем расхаживает — ходи, анафема, я где и село стоит позабуду... Он, стервец, енотку напялил, он, каналья, слышу я, калоши зака-

зал — плюю я на енотку и на калоши его плюю... Я в своем доме, сударь мой, в халате — царь.

Когда свечерело, мы отправились в поле. Узкая дорожка, с глубокими колеями и красноватой травкой посередине, вела нас вверх по отлогой равнине. Весело было проходить этой дорожкой. Кругом волновалось ржаное поле, однообразное как море, густое и прохладное. Развалины мухоморкинского домика, усадьба Листарки, дворики около сада — все это по самую пелену пряталось за высокой рожью, и только село за рекой, расположенное на высоком берегу, господствовало над окрестностями и виднелось как на ладони.

Вечер был прекрасный. Легкие как паутина облака собрались на западе и длинными, продолговатыми полосами протянулись над закатом, в упор заре, окрасившей их разнообразнейшими цветами, от нежно-розового до бледно-зеленого, от ярко-фиолетового до янтарного включительно. Воздух был прохладен и тих. Около дороги звонко перекликались перепела. С того берега доносилось мы-

чание стада, и пыль, поднятая этим стадом, золотисто-румяными клубами стояла над селом.

Мы дошли по дорожке до межи и стали на ней. Рожь, окружавшая нас со всех сторон, то приникала под мимолетным ветром, и тогда шорох гибких стеблей встревоженно разносился в чутком воздухе, то вновь поднималась и недвижимо замирала в тонкой дремоте.

Аристарх Алексеич одною рукой придерживал полу халата, другою величественно указывал мне на поле, отлогою равниною протянувшееся к его усадьбе.

— Все мое! — гордо произнес он. — Вот, смотрите — это рожь. Моя-с. За рожью пары — опять мои, сударь мой. Яровое тоже мое. Видите?.. Могу вам сообщить — жить можно. Смотрите — это усадьба. Вон сад, вон ракиты... Видите ракиты? (Я видел их.) А вон межа. Смотрите на межу. От усадьбы к Мухоморкину дорожка пошла, — видите? Это и есть межа, сударь мой. Моя дача к самому его дому подходит. Теперь — вот межа — стоим на ней. Видите, а? Все мое!

Дружный ветер пронесся откуда-то и ринулся на поле, и рожь, точно подтверждая слова своего хозяина, одобрительно зашептала и зашевелилась и радостно наклонила свои бледно-зеленые стебли к нашим ногам. Трепетные волны расползлись по полю и зарябили его веселой рябью.

Лицо Листарки просветлело; вечно насупленные брови приподнялись, и самые глаза, всегда мутные и упрямо-напряженные, осветились каким-то привлекательным светом. Он все еще стоял в позе Марса-победителя и указывал рукою вдаль.

— Все мое! — повторил он. — Вон тополь... Видите — тополь?.. Сорок лет тому тополю. А береза? Смотрите, какая она... Вон белеет! Это молодая береза.

Он долго и неподвижно смотрел и на березу молодую, и на серебристый тополь, и на всю усадьбу; под конец жадно обвел глазами все поле, вздохнул от избытка чувств и опустил указующую руку.

На обратном пути нам встретились три мужика (мужики были из числа постоянных работников Аристарха Алексеича); все они

еще издалека сняли шапки и при встрече с нами почтительно остановились и приветствовали господина Тетерькина «сударем». Это как нельзя лучше подействовало на господина Тетерькина. Преисполненный счастья, торжества и величия, возвратился он в свои «хоромы», и я не ошибусь, если скажу, что в тот вечер он особенно чувствовал себя достойным преемником настоящих, коренных дворян, вроде Катай-Валяева и Антонина Рафаиловича Воронова.

Простился он со мной любезно, хотя и не упустил случая, вместо всей руки, подать мне три пальца, а вместо поклона — надменно выпятить грудь и сделать некоторое мановение бровями.

Отъехав на довольно значительное расстояние от усадьбы, я услышал густой и важный бас Листарки, на добрую версту гласивший: «Спать, Арина!».

# Комментарии



*Рококо* — архитектурный и декоративный стиль, получивший свое развитие в первой половине и середине XVIII века во Франции, в период кризиса абсолютизма. Для стиля рококо характерны причудливость, изощренность форм.

[^^^]

*Дагерротип.* — Дагерротипными портретами назывались первые фотографические снимки, изготовленные на медных пластинках, покрытых слоем йодистого серебра. Название происходит от имени французского художника Дагерра, сделавшего это открытие в 1829 году.

[^^^]

«...работали... *испольно*». — *Испольщина* — такая форма пользования землей, при которой крестьянин за аренду земли уплачивал половиной снятого урожая.

[^^^]